**ЧИСТЫЙ ЯД**

Вы когда-нибудь чувствовали холод, замерзали? По-настоящему, как говорится, до костей? Мороз градусов за тридцать, а ты в дороге. Лошадка бежит, ее легкий парок от дыхания сразу превращается в снежок: в шикарном инее нос, ресницы, грива, в ты в санках сидишь, словно на блюдце… На тебе вроде и шапка, и шуба, и штаны стеганые, и рукавицы меховые, но все это как легкая простынка на тебе. Словно ты голый! Мерзнут лицо, ноги, потом плечи охлаждаются так, что руки не поднимаются. Губы свело, зубы начали выбивать дробь, всего скрючило, тело перестало тебя слушаться… Потом – резкая невыносимая боль во сем теле. И вдруг, в какой-то момент, ты перестаешь чувствовать холод и боль, тебе все равно, тебе даже тепло, потом жар разливается по всему телу, все горит, потом все, конец… Лошадка всегда приходит живой до своей деревни, а ты – нет. Прижмется лошадка к какому-нибудь двору, а на соломке в санках или розвальнях синий окоченевший труп. А если ты идешь пешком, да пурга, да заплутал, да присел отдохнуть, задремал, не дотянешь до утра. Потом ищут тебя несколько дней по всей округе. Часто не находят или находят весной, когда труп вытает из-под снега. Новость о том, что кто-то замерз, была совсем обычной новостью в деревне в мое время. Гибло людей на необъятных русских просторах больше даже, чем сейчас в ДТП.

Да где вам, нынешним гражданам, холод почувствовать! Поезда, автомобили… Кругом сугробы, мороз приличный, а ты сидишь за рулем новенькой иномарки в рубашке с короткими рукавами и ухом не ведешь. И дороги не задувает! Автобусы тоже теплые ходят, даже между маленькими селами… Тридцать минут – и ты дома! А в конце тридцатых – начале сороковых годов, уточню, двадцатого века, когда мне было всего восемнадцать, зимние дороги были ах какими длинными и холодными! На дровнях, на соломке! Сидишь и молишь бога дожить до конца дороги. Бежит лошадка вся инеем покрытая, пар из ноздрей! Ан и ты спешиваешься и бежишь за санями, держась за вожжи. А кругом просторы необъятные, белейшие, снег скрипит, мороз потрескивает, кто кого! Задохнешься, вспотеешь, а потом еще хуже! Мокрая рубашка леденеет прямо на теле, не приведи бог! И пешком ходили. Помню, дед мой рассказывал, что мужик из нашей деревни по прозвищу Лунок пришел из Астрахани в нашу нижегородскую глубинку пешком, да еще пуд соли принес на горбу. Силен был мужик, по летам бурлаком подрабатывал. А зимой замерз. Пошел вечером, в метель, встречать жену из города. И пути-то до станции всего было верст восемь. Вьюга в эту ночь была беспросветная, вешки в поле замело. Ходил, ходил он полями, один господь знает, где и как. Утром жена пришла домой, нет Лунка! Несколько дней всем селом искали! Да где там найти, сугробы под два метра, по дороге идешь, ноги с трудом вытаскиваешь! А если прямо по полю, так по грудь проваливаешься! Весной вытаял Лунок в глубоченном овраге, совсем в другой стороне. Обнял кусты руками и стоит; боялся, видно, сесть и уснуть. Так стоя и замерз.

В мое время любая зимняя поездка была небезопасным и редким событием. Передвигались только по острой необходимости. Крестьянин жил своим хозяйством, и острой нужды мотаться по городам и весям не было. Но все-таки деньги тоже нужны были, а как от хозяйства доход получить? На рынок, в город надо ехать. Вот одну такую поездку и помню я особенно. Тогда мой отец и его двоюродный брат Иван задумали в город с бараниной съездить. А это больше ста верст. Из них сорок километров, до большака, по которому один раз в день ходила машина грузотакси, надо было на лошадке, на санях, проехать. Другого сообщения тогда не было. Да и посадит ли грузотакси, не факт, может, загружена до предела…

Тогда, слава богу, посадили. Шофер потискал в забитый до отказа кузов на солому еще отца и Ивана, закинул туда же и чистые полотняные мешки с мясом. Договорились, что через два дня я их встречу, здесь же, в Криуше. В заезжую избу я заворачивать не стал, решил сэкономить время. В этот день мороз был несильным и обратная дорога мне мало чем запомнилась. Обычный день обычного крестьянина. Скажу только, что это было начало зимы, снегу было немного. Дорога была накатанной. Лошадка то бежала, то едва плелась. За ней можно было не следить: с дороги не свернет, дорога-то всего одна. Я закрутил вожжи на своей руке и лежал на соломке, укрыв ноги старым худым тулупом. Новый мне мать не дала, еще не холода! «Посеешь еще где-нибудь, или украдут!» Я смотрел в белесое пасмурное небо и мечтал. О чем мечтают восемнадцатилетние парни? В мое время мечтали о женитьбе. Я давно присмотрел себе девушку и ждал, когда отец накопит денег, чтобы справить свадьбу. «Без свадьбы – ни-ни, ты чай не безродный!» Как будто на свадьбу миллион надо! Мать давно нагнала самогона на угощение, а уж заколоть барана, наварить картошки да брюквы, опять же капусты наквасили… Но отец хотел прикупить мне домик в деревне у Мохового болота, отделить меня сразу. С одной стороны, я был рад уйти от родителей, в доме которого было еще девять ртов, но уж больно долго копит он на этот домик. Думаю, ему просто нравилось нырять в подпол, когда мать уходила доить корову, где на куче картошки   
удобно разместились четверти с мутной жидкостью. Нет, он не был пьяницей. Он был страшно трудолюбивым человеком. Кроме большого клина земли, полного двора скотины отец наладил в своей баньке на дальнем конце огорода производство валенок. В свободное время осенью и зимой родители пропадали в баньке оба, брали заказы из многих деревень. Но когда отец уставал или после парной, тут уж хоть тресни, а сто граммов налей!

В двадцать девятом в селе организовали колхоз, один из первых в округе. В колхоз вступили всего десять хозяйств, у которых ничего не было: ни скота, ни инвентаря, ни земли. Председатель колхоза, вернувшийся недавно с флота Иов Михеев, ходил из дома в дом, агитировал идти в колхоз, а бригадирка Паша, по прозвищу Колхозная, лютовала. Вот лютовала! В кумачовой косынке, завязанной на затылке узлом, она подходила к каждому дому, била палкой по окнам и кричала на все село: «Жидоморы! Заелись! Скоро вас всех на Соловки!» Отец шел в сарай, обнимал одну за другой лошадок за головы и плакал.

Я спиртное на дух не переносил. Даже не пробовал. А уж когда прослушал лекцию о вреде алкоголизма в комсомольской ячейке, то совсем все это дело возненавидел. Да и некогда мне было заниматься этой глупостью. В этом году я окончил десятилетку и решил пойти учиться на ветеринара. В районе открылась школа, где готовили специалистов для колхозов: механизаторов, счетоводов, зоотехников. Я, конечно, на правах старшего сына изо всех сил помогал отцу вести крестьянское хозяйство. Помогать ему я начал рано, поэтому о земле и о животных знал все и иной жизни не ведал и не хотел. В шесть лет он посадил меня верхом на лошадь и велел ездить туда-сюда по земельному клину, боронить только что засеянную вручную землю. Лошадиная спина подо мной ходила ходуном, быстро мослами натерла задницу, я лег животом на шею лошади, но клин доборонил. Иначе отец бы мне потом ничего не доверил. Я очень гордился своим отцом, семьей, да и всем своим селом.

Встречать отца из города тогда я выехал не рано. Часам к четырем дня. Небо прояснилось, и мороз крепчал. Лошадка отдохнула и бежала хорошо, мать на сей раз дала новый тулуп. Пока я добирался до Криуши, стало темнеть; зимой темнеет рано. Добравшись до большака, в заезжую избу опять заходить не стал, только время терять, притулился на повороте у деревянного забора. Грузотакси не появлялась долго.   
Я даже думать стал, что она совсем не придет. Но нет, она появилась. Отец и Иван были в приподнятом настроении. Они молодецки попрыгали из деревянного кузова, покидали все те же полотняные мешки на мои сани.

Те же мешки, да не те! Я знал, что теперь они заполнены не парным мясом, а покупками, подарками, городскими батонами и еще какой городской снедью. Мы, дети, очень любили, когда наступал момент потрошения этого мешка. Бывало это редко, от силы раза два-три в год. Отец степенно развязывал мешок перед собравшимися в круг домочадцами и не торопясь доставал из него, как из волшебной шкатулки, разные вещички: отрезы штапеля на платья сестрам, добротные яловые сапоги, калоши, круг копченой колбасы, инструмент, баночки ландрина, комовой сахар в мешочке и несколько батонов, примятых до состояния блинов. А что вы хотели? Он же еще и сидел на мешке-то! Но мы думали, что батоны такими и продаются. В деревне хлеб не продавали тогда, пекли сами. В основном ржаной, черный до безобразия. А на праздники пекли пироги, серые, но с вкусной начинкой. Так что белый-белый батон был сначала объектом изучения, потом мать отрезала всем по кусочку попробовать. Отец отмахивался: «Пустой этот городской хлеб!» Он все глубже и глубже залезал в мешок, доставал книги, тетради, ручки с перьями, шило, дратву, новые вожжи, кусок кожи и еще много-много чего. Каждую вещь он сопровождал рассказом, где и почем купил, как торговался и сколько сэкономил. В общем, без подарка не оставался никто. Все потом целую неделю рассматривали свои подарки и хвастались друг перед другом и перед соседями.

– Я ей говорю: рубль тридцать, – смеясь, довольный, продолжал рассказ отец, усаживаясь удобнее на розвальни и сдирая с моих ног тулуп. –   
А она: «Все по рупь двадцать, а у тебя рупь тридцать, побойся бога!»

– Так у меня особая баранина, матушка, молочная, одним молоком выкормленная! – Они весело хохочут, вспоминая удачную торговлю. Своими крупными телами, да еще одетые в бессчетные поддевки, ватные стеганые штаны и шубняки, они заняли все пространство саней, вытеснив меня на самый передок, прямо под хвост лошади.

Судя по их настроению, поездка была удачной, и не только. Я заметил, как отец вынул из кармана чекушку и отхлебнул хороший глоток. Потом подал бутылку Ивану.

«Так вот отчего у них морды красные! – сообразил я. – Они пьют всю дорогу! Вот, паразиты, нигде не упустят! Сейчас я вам поддам!»

– А вы знаете, что водка – это чистейший яд! – громко и уверенно начал я, пытаясь вспомнить убедительные слова лектора из комсомольской ячейки и подражая его тону. Лектор попал тогда очень основательный, я и не знал, что о простой водке можно говорить часами! – Она уничтожает нервные клетки, разрушает мозг, у человека нет ни одного органа, на который бы она не влияла отрицательно! Водка уничтожила многие народы и национальности, стерла с лица земли целые государства! Вот, так-то!

За моей спиной стало тихо, и я уверенно продолжал:

– Первая водка, путем перегонки, появилась в Персии в десятом веке. В Европе появилась в тринадцатом и вплоть до шестнадцатого века продавалась только в аптеках как лекарство. В России водка как напиток известна с 1533 года.

– А ба! Да ей на тот год четыреста лет будет! – вставил дядька Иван, икнув при этом и состроив морду колом. – По этому поводу надо выпить!

– Виноторговля и особенно пьянство в России, – продолжал я жестким голосом, – всегда были делом самым последним, позорным для православного человека! Церковь настрого запрещала… Мусульмане и сейчас сохраняют этот запрет, поэтому скоро они одни останутся на земле…

Я разразился речью минут на пятнадцать. Так у меня ладно получилось, сам себе позавидовал! Вот бы в ячейке меня послущали, не хуже лектора.

– Так, где же она, церковь-то сейчас, нету ее, закрыли !

Обычно из дядьки Ивана слова не выбьешь, а тут разговорился, начал даже спорить. Правильно лектор говорил, после второй стопки получаются павлины!

– Слушай, а говорят, водку изобрел наш мужик, Манделеев, кажись!

Изобрел для протирания деталей.

– Это тот Манделеев, который чумадан изобрел? – вдруг встрепенулся и отец. – Ты в прошлый раз рассказывал!

– Тот самый, но не он изобрел…

– Так чумадан-то он изобрел, чтобы водку возить! – седоки мои весело захохотали. Я понял, чтобы что-то изменить в этой ситуации, нужен веский аргумент.

– А у нас, в деревне, сколько мужиков померло от водки-то? А? Нестарых совсем! Вот Филиппенок на Рождество славил, славил, ходил, ходил из дома в дом и в конце порядка богу душу отдал!

– Так он самогонку пил, не водку!

– Да это еще хуже! С сивушными маслами, с разными ядами!   
А Пронька Лушин, а Макарка, а Фадей с Горланки! А Василий Иванович, безногий? Уж на что талант был – что тебе учет в колхозе провести, что стенгазету нарисовать, что на гармошке сыграть, на все мастер был! А умер совсем молодой!

– Неужто все от водки? – ахнул Иван.

– В России – целый комплекс алкогольных проблем: рост преступности, инвалидности, деградация нации, сверхсмертность… Сухой закон отменять в России было нельзя! А правительству – кругом выгода: от продажи водки, поэтому и наращивают ее производство, и от смертности алкоголиков, чтобы лишних ртов не было! Водка – это яд, чистейший!

Я замолчал, ужаснувшись своей высокопарности. Правда, она и есть правда, но как-то надо попроще до них донести и подоходчивее. Так бы им рассказать, как тот лектор, сколько спиртного производят, сколько потребляют, сколько помирают! Да с примерами из жизни! Да с выводами! Да в сравнении с другими странами! Но для этого надо много учиться.

– А Муратиха, а Машка Поликарпова, а Дунюшка? Эти отчего померли, они в рот не брали? – язвительно перебил меня отец. – Переучкой от тебя пахнет, сынок! Пили, пьем и пить будем! Уж больно вы, молодежь, дерзки да лезете, куда вас не просят! Посадят тебя за такие речи! Что же, это, выходит, советская власть нам враг? Она отменила сухой закон! Погляжу я на тебя лет через пяток, трезвенников я еще не видел, даже среди язвенников!

Я замолк. Слов у меня больше не хватало. Да еще и мороз крепчал: градусов уже под тридцать. И ветрище какой, северный, злой, пронзительный! Губы мои стали какими-то жесткими, не повиновались, слова выходили все корявее. Я чувствовал, как пробирается холод в прореху оторванного рукава моего крытого полушубка. Дурак, сам поленился рукав пришить, когда с Васькой Старым подрался. Всыпать ему всыпал, а он рукав оторвал, вцепился зубами. Подрались из-за нее, из-за Нины, тоже мне, ухажер нашелся, в отцы ей годится! Полушубок был старый, затрещал сразу. Дыру на поле полушубка – прожег, на спине – протер на печи. А еще где, и не помню. Да и маловат он мне, только выкинуть. Проклятое деревенское скопидомство! Мать вместо починки покрыла полушубок сверху черным молескином. Из дерьма конфетку сделала! Он стал как бы новый сверху, блестел, но со старыми дырами. Вот сейчас я всем телом чувствовал на нем каждую дырочку, дырку, дырищу. Мороз свободно входил через них, гулял по моей спине, животу, рукам. Я стал сжиматься и тянуть на себя тулуп. Тулуп был огромный, новый, на него овечьих шкур штук двадцать пошло, в нем свободно с головой и ногами заворачивались два человека. Вот и сейчас отец с дядькой закутались, только шапки торчат. А я сидел в молескиновом халате на юру и чувствовал, что замерзаю. Я готов был залезть под их ноги, укрытые теплой бараньей овчиной, но гордость не позволяла мне это сделать.   
Я был очень зол на отца и дядю Ивана.

Конечно, понять их можно было: всего несколько лет назад отменили сухой закон, который действовал с четырнадцатого года. За продажу самогона была статья. Самогон в деревнях гнали, конечно, но в такой секретности, что почище государственной тайны! Гнали для себя.   
А если кто на продажу, то сильно рисковали! Покупка четверки настоящей водки для безденежного крестьянина была настоящим праздником. Да и сколько отец с Иваном купили ее, ну, две четверки от силы! Двести пятьдесят граммов на здорового мужика, пол-литра на двоих – капля в море! Другое дело, если они остановятся на Ваду, селе, которое мы будем скоро проезжать, и затарятся снова! Например, четвертью самогона. (Почему эту бутыль тоже называют четвертью? Может, потому что в ней четыре литра!) Это будет катастрофа! Их тогда не успокоишь ничем! Я стал думать, как мне их отвлечь от этого, на мой взгляд, очень опасного занятия, словами убеждать, как я понял, бесполезно.

А ехать еще долго, и половины не проехали, потому что ровно на половине пути это село Вад. Село крупное, расположено на тракте, кабаков несколько, самый известный – бывший кабак купца Серебрякова. Трактир, по сути. И отец ни за что не проедет мимо! Можно бы, конечно, завернуть в заезжую избу, там поесть, отогреться, лошадку покормить. И дешевле, и быстрее, но ведь упрется сейчас, как говорила мать, за губу попало…

– А вы знаете, что одновременный прием четырехсот граммов этилового спирта для человека является смертельной дозой? – попытался я просветить своих родственников еще раз. – Доза в пол-литра водки, да еще на морозе, это – паралич конечностей, остановка сердца…   
А регулярное потребление приводит к полному разложению печени…

– А ты, сынок, не переживай так за нас! У нас не какой-нибудь полугар, у нас – смирновская! А ей, почитай, около ста лет! Мы етого етилового спирта в глаза не нюхали. Где мы его возьмем! Успокойся, сынок, мы только погреемся немного, самую чуточку!

Ох, как бы и мне погреться, подумал я. Неужели действительно водка согревает? Как кружка горячего чаю? Я бы сейчас даже на полкружки согласился, или даже на глоток! А может, попробовать и мне?..

– Да, сначала водка расширяет кровеносные сосуды, – продолжал я, теряя свою уверенность. – Потом резко сужает и приводит к коллапсу…

На небо выплыл остророгий месяц, и стало светло как днем. Впереди блестела отполированная полозьями узкая дорога, кругом поля, засыпанные серебром и золотом, далекий горизонт закрывала черная полоса леса. Но мне было не до красот округи, я начал замерзать. Мы были в пути час, час с четвертью, и я, здоровый и сильный молодой парень, замерзал. Закаменели лицо и плечи, острая боль пошла по рукам и шее. Я весь сжался в комок, пытался двигать головой и плечами, в мозгу крутилась мысль: что делать? Единственное место, где было пока тепло, это мои огромные подшитые в три слоя валенки, мне очень хотелось уйти в них с головой, но и они стали быстро холодеть. Ноги стали влажными и холодными. Мне бы сейчас в тулуп!

Вот еще! Ни о чем просить не буду! Лучше замерзну! Совсем меня не слушают, вот приедем, расскажу матери, она ему задаст! Она только посмотрит своим черным глазом через плечо на него, он сразу   
согнется, засеменит ногами: «Что ты, мать, что ты, в рот не брал, в рот не брал, заставили!» Отец боялся ее, но за глаза подсмеивался, называя «унтером»

Боль в теле нарастала и скоро стала невыносимой. Я чувствовал, что от боли теряю сознание. Но откуда-то из последнего теплого уголка в моем теле – из живота вдруг, не спрашивая меня, взмолился инстинкт самосохранения.

Я с трудом повернул голову к отцу, и не своим, сиплым голосом этот инстинкт вдруг невнятно произнес: «Пап, налей, мне, я замерз!» Скорее не сказал, а прошептал.

Сзади сначала наступила удивленная тишина, потом раздался такой хохот, что лошадь отпрянула и рванула вперед, вращая по сторонам глазами и мотая головой. Они ржали так здорово и заливисто, с такой силой и дурью, что у меня сами собой навернулись слезы на глаза, и я сжался весь в последний комок, как только мог. А может, мне это только показалось? Я перестал чувствовать реальность.

– Тебе? Яду? Ты что, с ума сошел! А паларич? А остановка сердца? А разложение селезенки? Ты нам не портий географию! – отец с Иваном наперебой по очереди выкрикивали эти слова, перемежая их не-  
утихающим хохотом. Они даже повалились друг на друга, продолжая их выкрикивать и просто давясь от смеха. А фига ли им не смеяться, под теплым-то тулупом!

– Водка – это чистый яд! – передразнивая меня и городского лектора, произнес отец. – Вернуть сухой закон в деревню!

Они все продолжали потешаться, но как-то все глуше и глуше для меня. Я чувствовал, что перестаю воспринимать окружающее, меня сильно тянуло в сон.

– Э-э-э, Менделеев, ты что, уснул вместе с лошадью? – закричал вдруг отец и стукнул меня в бок. Я повалился набок, как куль. – Да он и вправду замерзает, Иван, держи вожжи!

Куда делся смех! Отец свалил меня с саней в сугроб, соскочил и сам. Поднял меня на ноги, держа за подмышки. «Беги, беги! – повторял он, поднимая и толкая меня. – Мать твою, да что же ты молчал-то!»

Превозмогая боль, я побежал. Изо всех сил. Ноги не слушались, не сгибались. Я сделал несколько шагов, поскользнулся на отполированной полозьями полосе и полетел на дорогу. Отец сел на меня верхом и стал колотить по спине, рукам и ногам. Потом снова поставил меня на ноги и повторял исступленно: «Беги, беги! Да что же это, да что же это!»

Я снова побежал. Это мне так казалось, а на самом деле я снова сделал несколько шагов и свалился. Мне было уже хорошо и совсем не хотелось бежать. Я хотел спать. Все происходящее было уже как во сне.   
Я брыкался, не хотел вставать, уходя мысленно от всего этого все дальше и дальше. От этой страшной убийственной зимы с ее сорокаградусными морозами, от своего худого негреющего полушубка, от пьяной компании, от своей глупости. Не мешайте мне и вправду бросить все и забыться сном праведника… Мне хорошо, мне хорошо! Прямо сейчас я попал в теплый тропический рай, о котором рассказывал бывший матрос и наш родственник Калка, который в русско-японскую служил на эскадренном миноносце «Бурный». Каждый год 28 и 29 июля он надевал тельняшку и бескозырку, напивался и рассказывал. Рассказывал и плакал, плакал и рассказывал. Двадцать восьмого во время боя в Желтом море «Бурный» сумел прорвать вражескую блокаду и уйти от преследовавших его японских кораблей. Русская эскадра была разбита. А двадцать девятого они наскочили на камни, с которых было не сняться, и, чтобы не достаться врагу, взорвали свой корабль и сдались китайским властям. Рассказчиком он был хорошим, и мы живо представляли море, шторма, диковинную природу и небывалую жару тех широт, когда на палубу нельзя ступить босой ногой. Его рассказы мы слушали с особой почтительностью и вниманием; ни радио, ни телевизора тогда не было и в помине. Что радио – электричество в нашей деревне появилось, когда мне было уже сорок лет. Особенно я любил его рассказы о жарких странах, где он был, нам даже не верилось, что есть места, где не бывает зимы. Везет же людям жить в таком климате!

Вдруг я почувствовал, как огнем обожгло мне лицо, потом рот, потом огненный ком прошел в грудь, провалился в желудок. Погорел там не-  
много и стал тонкими струйками проникать в живот, ноги, руки. Огонь жег, калил, растекался по всему телу, достиг головы. Огненный шар катался и катался по моему телу, сопровождая все острой болью, как ножом полосовало. Потом все. Слава богу! Больше я ничего не помню.

Очнулся я от того, что задыхался. Я был задавлен огромной глыбой сверху, и совсем не было воздуха. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сознание то уплывало куда-то, то возвращалось, голова кружилась. Было темно. И тепло.

– Тпру-у! – донеслось глухо и нетерпеливо. Лошадь встала, исчез противный скрип полозьев, и глыба с меня начала сползать. Это был мой отец. Он был раздет. Он лежал на мне, живот на живот, грудь на грудь, руки свои он держал на моих плечах. Его дыхание согревало мое лицо. Его полушубок лежал на нас обоих, и оба мы были закутаны еще и нашим добротным тулупом. Наглухо. Правил лошадью Иван.

Когда лошадка остановилась, отец быстро соскочил с саней и раздетым бросился куда-то. Пришли несколько мужиков, подхватили с разных концов меня на тулупе и внесли в избу. Положили посреди пола, у стола. Над столом низко висела и горела семилинейная керосиновая лампа, длинные тени от нее плясали на бревенчатых темных стенах. Потолок уплывал то вправо, то влево, меня мутило, в голове стоял звон. Отец бросился на колени на пол предо мной, и начал ощупывать мне руки, ноги, голову, грудь.

– Ну, ты что, ты что, ты что, сынок, где болит? Болит где-нибудь? Не обижайся на нас! Дураки мы с Ванькой! Утямились дразнить тебя! Ты молодой, грамотный у нас. Не то что мы! У меня ведь все надежды на тебя! И не запились мы! Я больше в рот не возьму, клянусь тебе! Больше в рот не возьму! Не возьму! Ты что удумал?

Он повторял и повторял эти слова тихо и сумбурно, потом заорал: «Марья, Марья, говорю, иди, погляди, что с ним!»

Ко мне подошла хозяйка заезжей избы. Она профессионально провела руками по моим конечностям, пощупала пульс, приложила ухо к груди, принюхалась.

– Чаю ему надо! Сладкого! Да побольше!

Отец заботливо поил меня из кружки. У меня совсем не было сил. Голова была как в тумане, тошнило. Потом меня переложили на печь-лежанку, занимавшую половину задней избы. Лежанка была такая, что на ней спокойно уложилось бы еще человек пять-шесть во весь рост.

Господи, какая это благодать – русская печь, да с такой лежанкой! Тихое, ненавязчивое тепло под боком, на всю ночь, сухой свежий воздух, надежный покой и уверенность! А утром еще и горячие мясные щи в дорогу, после которых можно не беспокоиться о провианте до вечера. Проваливаясь в дрему, я услышал, как пришел, хлопнув дверью, Иван, распрягавший и устраивавший на ночь лошадку.

– Холодно, ох, холодно, дышать нечем! Я две попоны на лошадь натянул! Жмется, бедненькая! Хорошо, сарай теплый!

Он подсел к отцу за стол, Марья подала им ужин. Показала рукой на бутылку: «Будете?»

– Нет, нет, – спешно ответил отец и отвернулся.

– А от парня-то вроде попахивает, – как бы между прочим, сказала Марья, пристально глядя на отца.

– Да когда тот замерзать стал, Семен влил ему в рот. Да не подрасчитал, почти вся четверка и ушла, последняя. Гнали как на пожар! – бесхитростно сообщил Иван Марье.

– Вы что, мужики, совсем сдурели, он же ребенок еще! По башкам-то бы вам! Совсем мозги пропили! Сами-то что, не замерзли? Зарылись, небось, в овчину! Паразиты!

Она подошла снова ко мне, приложила руку ко лбу. Рука ее была мягкой и прохладной. Мне стало так хорошо!

Марья еще долго ходила по комнате, ругала отца и Ивана, потом потрясла у них перед носами бутылкой с надписью «Водка особая», погрозила пальцем, перекрестилась и ушла. Наступила теплая, надежная тишина.

Я проснулся утром, когда солнце вовсю светило в окно. Отец и Иван сидели у стола, уже одетые. Марья подала на стол, и мы позавтракали. Лошадь была запряжена. Отец взял вожжи. Меня он заботливо укутал в тулуп и усадил в центре саней. Оставшиеся три часа до дома мы ехали молча. Вот и наша церковь на горе. Сейчас спустимся с горы, и – дома. Отец нагнулся ко мне и, глядя куда-то в сторону, сказал: «Ты, сынок, матери, того, ничего не говори, ладно?»

Я кивнул. Я и не собирался. У меня в голове были уже другие, очень важные планы.